

АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН

ДОЛГ
ПРЕЖДЕ
ВСЕГО

Александр Иванович Герцен

Долг прежде всего

Аннотация

«Я считал бы себя преступным, если б не исполнил и в сей настоящий год священного долга моего и не принес бы вашему превосходительству наиусерднейшего поздравления с наступающим высокаторжественным праздником...»

Содержание

Александр Герцен	4
I. За воротами	5
II. Дядюшка Лев Степанович	15
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Александр Герцен

Долг прежде всего

«Я считал бы себя преступным, если б не исполнил и в сей настоящий год священного долга моего и не принес бы вашему превосходительству наиусерднейшего поздравления с наступающим высокаторжественным праздником».

I. За воротами

Сыну Михаила Степановича Столыгина было лет четырнадцать... но с этого начать невозможно; для того чтоб принять участие в сыне, надобно узнать отца, надобно сколько-нибудь узнать почтенное и доблестное семейство Столыгиных. Мне даже хотелось бы основательно познакомить читателей моих с ним, но не знаю, как лучше приняться.

Мне приходило в голову начать с исторических преданий их знаменитого рода. Я хотел слегка упомянуть, как Трифон Столыгин успел в две недели три раза присягнуть, раз Владиславу, раз Тушинскому вору, раз не помню кому, – и всем изменил; я хотел описать их богатые достояния, их села, в которых церкви были пышно украшены благочестивыми и смиренными приношениями помещиков, по-видимому не столь смиренных в светских отношениях, что доказывали полуразвалившиеся, кривые, худо крытые и подпертые шестью избы; но, боясь утомить внимание ваше, я скромно решаюсь начать не дальше как за воротами большого московского дома Михаила Степановича Столыгина, что на Яузе. Ограда около дома каменная, ворота толстого дерева, с одной стороны калитка истинная, с другой ложная, для симметрии, в ней вставлена доска, на доске сидит обтерханный старик, по-видимому нищий.

Старик этот, впрочем, не был нищий, а дворник Михайла

Степановича.

Пятьдесят второй год пошел с тех пор, как красивый русский юноша Ефимка вышел в первый раз за эти ворота с метлою в руках и горькими слезами на глазах. Дядя Михаила Степановича, объезжая свои поместья, привез его из Симбирска, не потому что ему особенно нужен был мальчик, а так, ему понравился добрый вид Ефимки, он и решился устроить его судьбу. Устроил он ее прочно, как видите. Ефимка мел юношей, мел с пробивающимся усом, мел с обкладистой бородой, мел с проседью, мел совсем седой и теперь метет с пожелтевшей бородой, с ногами, которые подгибаются, с глазами, которые плохо видят. Одно сберег он от юности – название Ефимки; впрочем, страннее этого патриархального названия было то, что он действительно не развился в Ефимы. По мере того как он свыкался с своей одинокой жизнью, по мере того как страсть к двору и к улице у него делалась сильнее и доходила до того, что он вставал раза два, три ночью и осматривал двор с пытливым любопытством собаки, несмотря на то, что ворота были заперты и две настоящих собаки спущены с цепи, – в нем пропадала и живость и развязность, круг его понятий становился уже и уже, мысли смутнее, тусклее. Раз, лет за двадцать до нашего рассказа, ему взошла в голову дурь – жениться на кучеровой дочери; она была и не прочь, но барин сказал, что это вздор, что он с ума сошел, с какой стати ему жениться – тем дело и кончилось. Ефимка потосковал, никому не говорил о том ни

слова и стал попивать. К старости он сделался кротким, тихим зверем, страдавшим от холода и от боли в пояснице, веселившимся от сивухи и нюхательного табаку, который ему поставлял соседний лавочник за то, чтоб он мел улицу перед лавочкой. Других сильных страстей у него не было, если мы не примем за страсть его безусловной послушливости всем, кто хотел приказывать, и безграничного страха перед Михаилом Степановичем.

Нельзя сказать, чтобы сношения Ефимки с Михаилом Степановичем были особенно часты или важны; они ограничивались строгими выговорами, сопряженными с сильными угрозами за то, что мостовая портится, за то, что тротуарные столбы гниют, за то, что за них зацепляются телеги и сани; Ефимка чувствовал свою вину и со вздохом поминал то блаженное время, когда улиц не мостили и тротуаров не чинили по очень простой причине – потому что их не было.

Сношение другого рода, более приятное и торжественное, повторялось всякий год один раз. В светлое воскресенье вся дворня приходила христосоваться с бариним. Причем Михайло Степанович, обыкновенно угрюмый и раздраженный, менял гнев на милость и дарил своих слуг ласковым словом – отчасти в предупреждение других подарков. «А помнишь, – говорил ежегодно Михайло Степанович Ефимке, обтирая губы после христосованья, – помнишь, как ты меня возил на салазках и делал снеговую гору?» Сердце прыгало от радости у старика при этих словах, и он торопился отве-

чать: «Как же, батюшка, кормилец ты наш, мне-то не помнить, оно ведь еще при покойном дядюшке вашей милости, при Льве Степановиче было, помню, вот словно вчера». – «Ну, оно вчера не вчера, – прибавлял Михаила Степанович, улыбаясь, – а небось пятой десяток есть. Смотри же, Ефимка, праздник праздником, а улицу мети, да пьяных много теперь шляется, так ты, как смеркнется, ворота и запри. Что, не крадут ли булыжник?» – «Словно глаз свой берегу, батюшка, и ночью выхожу раз, другой поглядеть», – отвечал дворник – и барин давал знак, чтоб он шел с красным яйцом, данным ему на обмен.

Этим периодическим разговором ограничивались личные сношения двух ровесников, живших лет пятьдесят под одной крышей. Ефимка бывал очень доволен аристократическими воспоминаниями и обыкновенно вечером в первый праздник, не совсем трезвый, рассказывал кому-нибудь в грязной и душной кучерской, как было дело, прибавляя: «Ведь подумаешь, какая память у Михаила-то Степановича, помнит что – а ведь это сущая правда, бывало, меня заложит в салазки, а я вожу, а он-то знай кнутиком погоняет – ей-богу, – а сколько годов, подумаешь», и он, качая головою, развязывал онучи и засыпал на печи, подложивши свой армяк (постели он еще не успел завести в полвека), думая, вероятно, о суете жизни человеческой и о прочности некоторых общественных положений, например дворников.

Итак, Ефимка сидел у ворот. Сначала он медленно, боль-

ше из удовольствия, нежели для пользы, подгонял грязную воду в канавке метлой, потом понюхал табаку, пошел, посмотрел и задремал. Вероятно, он довольно долго бы проспал, в товариществе дворной собаки плебейского происхождения, черной с белыми пятнами, длинную жесткую шерстью и изгрызенным ухом, которого сторонки она приподнимала врозь, чтоб сгонять мух, если бы их обоих не разбудила женщина средних лет.

Женщина эта, тщательно закутанная, в шляпке с опущенным вуалем, давно показалась на улице; она медленно шла по противоположному тротуару и с беспокойным вниманием смотрела, что делается на дворе Столыгина. На дворе все было тихо, казачок в сених пощелкивал орехи, кучер возле сарая чистил хомут и курил из крошечного чубука, однако и этого довольно было, чтоб отстрашать ее; она прошла мимо и через четверть часа явилась на том тротуаре, на котором спал Ефим. Собака заворчала было, но вдруг бросилась со всеми собачьими изъявлениями радости к женщине, она испугалась ее ласк и отошла как можно скорее. Осмотревшись еще раз, что делается на дворе, она решила подойти к Ефиму и назвать его.

– Ась, – пробормотал Ефим, – чего вам?

Он не был так счастлив, как его приятель с раздвоенным ухом, и не узнал, кто с ними говорит.

– Ефимушка, – продолжала незнакомка, – вызови сюда Кирилловну.

– Настасью Кирилловну, а на что вам ее? – спросил дворник, что-то запинаясь.

– Да ты меня разве не узнаешь?

– Ах ты мать, пресвятая богородица, – отвечал старик и вскочил с лавки, – глаза-то какие стали, матушка... Эх я кого не опознал, простите, матушка, из ума выжил на старости лет, так уж никуда не гожусь.

– Послушай, Ефим, мне некогда, коли можно, вызови Настасью.

– Слушаю, матушка, слушаю, отчего же нельзя, – оно все можно, я сейчас для тебя-то сбегал бы, – да вот, мать ты моя родная, – и старик чесал пожелтелые волосы свои, – да как бы, то есть, Тит-то Трофимович не сведал? – Женщина смотрела на него с состраданием и молчала; старик продолжал: – Боюсь, ох боюсь, матушка, кости старые, лета какие, а ведь у нас кучер Ненподист, не приведи господь, какая тяжелая рука, так в конюшне богу душу и отдашь, христианский долг не исполнишь.

Старик еще не кончил своей речи, как из ворот выскочила старушонка, худощавая, подслепая, вся в морщинах, с седыми волосами.

– Ах, матушка, не извольте слушать, что вам старый сыч этот напевает, пожалуйста ко мне, я проведу вас, – ведь из окна, матушка, узнала, походку-то вашу узнала, так сердце-то и забилося, ах, мол, наша барыня идет, шепчу я сама себе да на половину к Анатолию Михайловичу бегу, а тут попал-

ся казачок Ванюшка, прядовитой у нас такой, шпионишка мерзкой: что, спросила я, барин-то спит? – Спит еще – чтоб ему тут, право, не при вас будь сказано.

Все это она так проворно говорила с пресильной мимикой, что Марья Валериановна не успела раскрыть рта и, наконец уж, перебила ее вопросом:

– Настасьюшка, да здоров ли он?

– Ничего, матушка, ну только худенькой такой. Какое и житье-то! Ведь аспид-то наш на то и взял их, чтоб было над кем зло изливать, человеконенавистник, ржа, которая, на что железо, и то поедом ест. У Натоль же Михайловича, извольте знать, какой нрав, весь в маменьку, не то, что наше холопское дело, выйдешь за дверь да самого обругаешь вдвое, прости господи, ну, а они все к сердцу принимают.

Марья Валериановна утерла наскоро слезу и шепнула: «Пойдем же, Настасьюшка».

Настасья строго-настрога наказала Ефимке, если Тит подойдет казачка спросить, с кем она говорила за воротами и с кем взошла, сказать со швеей, мол, с Ольгой Петровной, что живет у Покровских ворот. После этого она повела Марью Валериановну через двор на заднее крыльцо, потом по темной лестнице, которую вряд мели ли когда-нибудь после отстройки дома. Лестница эта шла в маленькую каморку, отведенную Настасье; эта каморка была цель ее желаний, предмет домогательств ее в продолжение пятнадцати лет. Ни у кого в доме не было особой комнаты, кроме у Тита. Михайло

Степанович, наконец, дозволил занять ее, с условием не считать ее своею, никогда в ней не сидеть, а так покамест положить свои пожитки. В этой маленькой комнате стоял небольшой деревянный стол, окрашенный временем, на нем покоился покрытый полотенцем самовар, в соседстве чайника и двух опрокинутых чашек. На стене висели две головки, рисованные черным карандашом, одна изображала поврежденную женщину, которая смотрела из картины, страшно вытаращив глаза, вместо кудрей у нее были черви – должно думать, что цель была представить Медузу. Другая представляла какого-то жандарма в каске, вероятно вышедшего из воды, судя по голому плечу, лицо у него было отвратительно правильно, нос вроде ионийской колонны, опрокинутый волтами вниз, голову он держал крепко на сторону, разумеется, этот жандарм был – Александр Македонский.

Но перед этими картинами, нарисованными детской рукой, остановилась Марья Валериановна и не могла более удерживаться. Она закрыла глаза платком, и Настасья плакала ото всей души, приговаривая: «Да это он, мой голубчик, в именины подарил».

– Ну, как кто взойдет сюда, Настасьюшка, что тогда делать?

– Не извольте беспокоиться, матушка, фискала-то нашего дома нет. Вишь, староста приехал, да обоз с дровами, что ли, пришел, так он и пошел в трактир принимать; самый вредный человек и преалчный, никакой совести нет, чаю пары

две выпьет с французской водкой как следует, да потребует бутылку белого, рыбы, икры; как чрево выносит, небось седьмой десяток живет, да ведь что, матушка, какой неочестливый, и сына-то своего приведет, и того угощай. Ну, да он угодит еще под красную шапку, сын-то, озорник. Покуда старой-то пес жив, так все шито и крыто, а как бог по душу пошлет, мы все выведем, и как синенькая у кучера пропала...

Длинная речь in Titum осталась неоконченной, молодой человек лет тринадцати, стройный, милый и бледный от внутреннего движения, бросился, не говоря ни слова, на шею Марьи Валериановны и спрятал голову на ее груди; она гладила его волосы, смеялась, плакала, целовала его. «Ну. привел же бог. привел же бог, – говорила она. – Да дай же посмотреть на тебя...», и она всматривалась долго, с тем упоением преданным, святым, с каким может смотреть одна любовь матери. Она была счастлива, он так хорош, черты его так невинно чисты и открыты, она молилась ему.

– Дружок ты мой, какой ты худенькой, – говорила она ему, – здоров ли ты?

– Я здоров, маменька, – отвечал молодой человек. – Я только боюсь, что папаша узнает, спросит меня.

– И, батюшка, – вмешалась няня, – что это, уж такой умник и не умеете держать ответ. Правду сказать, это только ваш папаша воображает, что его в свете никто не проведет, а его вся дворня надувает.

Молодой человек не отвечал, но сделал движение, кото-

рое делают все нервные люди, когда нож скрипит по тарелке.

II. Дядюшка Лев Степанович

Кажется, что и хорошо я начал мой рассказ, а опять приходится отступить, далеко отступить, иначе не объяснишь сцены, происходившей в маленькой комнатке Настасьи.

Начнемте там, где оканчиваются воспоминания Ефимки; он возил молодого барина в салазках при жизни «дяденьки». Дяденька Лев Степанович уже потому заслуживает, чтобы начать с него, что, несмотря на всю патриархальную дикость свою, он первый ручной представитель Столыгиных. Этим он обязан слепой любви родителей к его меньшему брату. Степушку никогда бы не решились они отправить на службу, отдать в чужие руки; Левушку, напротив, родители не жалели, и как только он кончил курс своего воспитания, то есть научился читать по-русски и писать вопреки всем правилам орфографии, его отправили в Петербург. Послуживши лет десять в гвардии, он перешел в гражданскую службу, был советником, был впоследствии президентом какой-то коллегии и в большой близости с кем-то из временщиков. Патрон его, долго умевший искусно удержаться в силе в классическое время падений и успехов, воцарений и низвержений, после Петра I и до Екатерины II, потерял, наконец, равновесие и исчез в своих малороссийских вотчинах. Помощник и ставленник его Лев Степанович премудро и вовремя умел отделить свою судьбу от судьбы патрона, премудро успел же-

ниться на племяннице другого временщика, которую тот не знал куда девать, и, наконец, что премудрее всего вместе, Лев Степанович, получив аннинскую кавалерию, вышел в отставку и отправился в Москву для устройства имения, уважаемый всеми как честный, добрый, солидный и деловой человек.

Не надобно думать, чтоб в его удалении был один расчет или дипломатия; причина столько же сильная звала его воротиться к более родной среде. В Петербурге, несмотря на успехи по службе, ему все было что-то неловко, точно в гостях; ему захотелось покоя в почетном раздолье помещичьей жизни, захотелось пожить на своей воле; родители его давно померли, Степушка был отделен, именье, доставшееся Льву Степановичу, было одно из богатейших под Москвою, верст сотню по Можайке от города. Как же не ехать ему было в свои березовые и липовые рощи, в свой старый отцовский дом, где подобострастная дворня и испуганное село готово было его встретить с страхом и трепетом, поклониться ему в землю и подойти к ручке.

В Москве он остался недолго, заложил на Яузе, вместо деревянного дома, каменные палаты и уехал в Липовку, изредка наезжая присмотреть за постройкой. За хозяйство Лев Степанович принялся усердно; он и на службе своего именья не расстроил, а напротив, к родовым тысяче душам прикупил тысячи полторы; но теперь, не вдаваясь в агрономические рассуждения, он разом сделался смышленным поме-

щиком, с той сноровкой, с которой из лейб-гвардии капитанов стал в год времени деловым советником. Удвоивая доходы, он улучшил состояние крестьян. Он и хлебом поможет, и овса на посев даст, и корову или лошадь даст в замену падшей, ну да после держи ухо востро. Вдруг никто не думает, не гадает, барин с старостой и с десятскими на двор. «Эй ты, Акулька, покажи-ка горшки для молока». – Не вымыты, тут бабе и расправа. «А ты, Нефед, покажь-ка соху, да и борону, выведи лошадь-то», – словом, поучал их, как неразумных детей, и мужички рассказывали долго после его смерти «о порядках старого барина», прибавляя: «Точно, бывало, спуску не дает, ну, а только умница был, все знал наше крестьянское дело досконально и правого не тронет, то есть учитель был».

Дворовых он держал без числа и меры, у него были мальчишки, единственно употребляемые днем на то, чтоб чистить клетки соловьев, а ночью ходить по двору, чтоб собаки не лаяли близ господского дома. У него были девочки, которых все назначение состояло в том, чтоб зимой стирать воду с оконниц, а летом носить уголья и тазики для варенья. Нельзя сказать, чтоб такое количество прислуги его вводило в особенно важные траты: все, начиная с самых личностей, было домашнее: рожь и гречиха, горох и капуста, и не один корм... Умрет корова, выделают кожу, сапожник сошьет портному сапоги, в то время как портной ему кроит куртку из домашнего сукна цвету маренго-клер и широкие панталоны из небеленого холста, которым были обложены

рабочие бабы. Притом у Льва Степановича был неотъемлемый талант воспитывать дворню, – талант совершенно утраченный в наше время; он вселял с юных лет такой страх, что даже его фаворит и долею лазутчик, камердинер Тит Трофимов, гроза всей дворни, не всегда обращавший внимание на приказы барыни, сознавался в минуты откровенности и сердечных излияний, что ни разу не входил в спальню барина без особого чувства страха, особенно утром, не зная, в каком расположении Лев Степанович. Дивиться нечему. Выгоды и почет барского фавёра очень недаром доставались Титу, особенно потому, что он часто попадался на глаза. Лев Степанович был человек характерный, сдерживать себя не считал нужным, и, когда утром он выходил к чаю с красными глазами, сама Марфа Петровна долго не смела начать разговор. В эти «характерные» минуты сильно доставалось Титу, – побьет его, бывало, да и пошлет к барыне: «Поди, – говорит, – покажи ей свою рожу и скажи – вот, мол, как дураков учат, людей делают из скотов». Для Марфы Петровны, в ее скучной и однообразной жизни, подобные случаи служили развлечением, даже она находила своего рода удовольствие в унижении гордого и высокомерного Тита.

Действительно, развлечений в ее жизни было мало, особенно светских. Детей им бог не дал. Пыталась она и ворожить, и заговариваться, и пить всякую дрянь, и к Троице-Сергию ходила пешком, и Титову сестру посылала в Киево-Печерскую лавру, откуда она ей принесла колечко с ра-

ки Варвары-мученицы, но детей все не было. Нельзя сказать, чтоб Лев Степанович особенно был оттого несчастен, однако он сердился за это, как за беспорядок, и упрекал в минуты досады свою жену довольно оригинальным образом, говоря: «У меня жену бог даровал глупее таракана, что такое таракан, нечистота, а детей выводит». При этом видно было гордое сознание, что он с своей стороны себя в этом не винит – да и в самом деле, без вопиющей несправедливости мудро было винить Льва Степановича, взяв во внимание хоть одно разительное сходство с ним поваровых детей. Главное, что сердило Льва Степановича, это отсутствие цели в хозяйстве и устройстве имения. «Я, – говорил он, – денно и ночью хлопочу, и запашку удвоил, и порядок завел, и лес берегу, и денег не трачу, а подумаю на что, сам не знаю; точно управляющий братнина сына, а тот возьмет все, да и спасибо не скажет, я его знаю, по матери пошел, баба продувная была, и в нем хамовой крови довольно. Оно, конечно, это мой долг, на то я и поставлен богом в помещики, чтобы хозяйничать, на том свете с меня спросится; все же лучше, если бы был настоящий наследник!»

И Лев Степанович грустно качал головою, сидя на жестких креслах, обитых черной кожей, приколоченной медными гвоздочками. Марфа Петровна горько плакивала от подобных разговоров и за светские лишения прибегала к духовным утешениям.

Возле самого господского дома иждивением Льва Степа-

новича была воздвигнута каменная церковь о трех приделах. Спальня выходила окнами к колокольне; при первом благовесте Марфа Петровна поспешно одевалась и являлась ранее всех в храм божий. Лев Степанович приходил позже, и то по большим праздникам и в воскресные дни. Марфа же Петровна являлась при всех богослужениях, на похоронах, крестинах, бракосочетаниях. Лев Степанович становился впереди, подтягивал клиросу и бдительным оком смотрел за порядком, сам драл за уши шаливших мальчишек и через старосту показывал, когда надо было креститься и когда класть земные поклоны. Он был любитель и знаток богослужения, он на дом к себе призывал молодого диакона и месяца три всякий день учил кадить и делать возглас, поднимая орарь с полуоборотом на амвоне; диакон действительно так мастерски делал возглас и пол-оборота, что можайские купцы приезжали любоваться и находили, что иеродиакон Саввина монастыря далеко будет ниже липовского.

Монастырь этот был верст тридцать от усадьбы Льва Степановича. Он постоянно посылал туда не столько богатые, сколько постоянные приношения – возов десять прошлогоднего и несколько сгоревшего сена, овес, не годный на семена, сырые и почерневшие дрова. Марфа Петровна с своей стороны делала приношения тоже более ценные по усердию, нежели по чему иному; она посылала в монастырь розовую и мятную воду, муравьиный спирт, сушеную малину (инок, не зная, что с ней делать, настаивали ее пенным вином),

несколько банок грибов в уксусе, искусно уложенных, так что с которой стороны ни посмотришь, все видно одни белые грибы, а как ложкой ни возьмешь, все вынешь или березовик или масленок. Иноки иногда посещали благочестивый дом богоприбежного помещика и всегда находили радужный прием Марфы Петровны, которая любила их и как-то боялась.

Других гостей почти никогда не являлось у Столыгиных. Кроме их двоих, еще проживали у них дядя Марфы Петровны с своей женой. Ехавши из Петербурга, Лев Степанович пригласил к себе дядю своей жены, не главного, а так, дядю-старика, оконтуженного в голову во время турецкой кампании, вследствие чего он потерял память, ум и глаза. Настоящий дядя, не зная куда его деть, намекнул Льву Степановичу, который хотя уже тогда и был в отставке, но все же не смел поперечить особе. Слепой старик был женат на молдаванке, у которой в доме лежал раненый; она была не первой молодости и, несмотря на большой римский нос и на огромные орлиные глаза, отличалась великим смирением духа. Ее Столыгин употреблял на прием талек, холстины, орехов, на чищение ягод, сушение трав, варение грибов; Марфа Петровна, призревая родственников, была уверена, что этим загладит все свои грехи, а может, сделает доступною и свою молитву о даровании детей. Обращение, сложившееся между хозяевами и гостями, было простое, патриархальное. Марфа Петровна называла старика дядей, но жену

его не только не называла теткой, но говорила ей «ты» и в иных случаях позволяла целовать у себя руку. Лев Степанович говорил обоим «ты» и обращался с ними так, как следует обращаться с людьми, вполне зависящими от нас, — с холодным презрением и с оскорбительным выказыванием своего превосходства. Он их трактовал, как мебель или вещь не очень нужную, но к которой он привык.

Утро слепой обыкновенно проводил в своей комнате во флигеле, где курил сушеный вишневый лист, перемешанный с венгерскими корешками. В час девка, приставленная за ним, надевала на него длинный синий сюртук, повязывала белый галстух и приводила в столовую. Здесь он дожидался, сидя в углу, торжественного выхода Льва Степановича. Горе бывало старику, если он опоздает, тут доставалось не только ему, но и Таньке, служившей при нем корнаком, и молдаванке. Старику повязывали на шею салфетку и сажали его за стол, где он смиренно дожидался, пока Лев Степанович ему пришлет рюмку настойки, в которую он ему подливал воды. За столом старик не смел ничего просить, да не смел ни от чего и отказаться; даже больше двух стаканов квасу (хозяева пили кислые щи, но для дяди с теткой приносили людского квасу, кислого, как квасцы) ему не позволялось пить. Подадут ли дыню, Лев Степанович вырежет лучшую часть, а корки положит ему на тарелку. Марфа Петровна делала то же с зрячей молдаванкой, прибавляя, что это сущий вздор и почти грех думать, что бог так создал дыню, что одну закраин-

ку можно употреблять в пищу.

В редкие минуты, когда Лев Степанович был весел, слепой старик служил предметом всех шуток и любезностей Льва Степановича. «А, добро пожаловать, – кричал он, – добро пожаловать, отец Ксенофонтий! Ей, Васильич (так называл он дядю), не видишь, что ли, отец Ксенофонтий идет тебя благословить». – «Не вижу, государь мой, не вижу», – отвечал слепой. «Да вот с правой-то стороны», – и он послал Тита благословлять старика, и тот ловил его руку. Лев Степанович хохотал до слез, не догадываясь, что самое забавное в этой комедии состояло в том, что выживший из ума старик, с тою остротой слуха, которая обща всем слепым, очень хорошо знал, что отец Ксенофонтий не входил, и представлял только для удовольствия покровителя, что обманут. Но верх наслаждения для Столыгина состоял в том, чтобы накласть на тарелку старику чего-нибудь скоромного в постный день, и когда тот с спокойной совестью съедал, он его спрашивал: «Что это ты на старости лет в Молдавии, что ли, в турецкую перешел, в какой день утираешь скоромное». У старика делались спазмы, он плакал, полоскал рот, делался больным – это очень забавляло Столыгина.

Иногда Лев Степанович будил в старике что-то похожее на чувство человеческого достоинства, и он дрожащим голосом напоминал Льву Степановичу, что ему грешно обижать слепца и что он все-таки дворянин и премьер-майор по чину. «Ваше высокородие, – отвечал Столыгин, у которого

кровь бросалась в лицо от такой дерзкой оппозиции, – да ты бы ехал в полк – ну, я тебе пришлось не по нраву, прости великодушно, а уж переучиваться мне поздно, мне не под лета; да и что же, я тебя не на веревочке держу, ступай себе в Молдавию в женино именье». – «Лев Степанович, – робко прибавляла Марфа Петровна, – ведь как бы то ни было, он мне дядя и вам сродственник». – «Вот? В самом деле? – возражал еще более разъяренный Столыгин. – Скажите пожалуйста, новости какие! А знаешь ли ты, что, если бы он не был твой дядя, так у меня не только б не сидел за столом, да и под столом». Испуганная майорша дергала мужа за рукав, начинала плакать, прося простить неразумного слепца, не умеющего ценить благодетелей. У старика текли по щекам тоже слезы, но как-то очень жалкие, он походил на беспомощного ребенка, обижаемого грубой и пьяной толпой.

После обеда барин ложился отдохнуть. Тит должен был стоять у дверей и, когда Лев Степанович ударит в ладоши, подать ему графин кислых щей. Иногда в это время Тит бегал в девичью и приказывал по именному назначению той или другой горничной налить ромашки и подать барину, что «де на животе нехорошо», и горничная с каким-то страхом бежала к Агафье Ивановне. Агафья Ивановна, ворча сквозь зубы, сыпала вонючую траву в чайничек. Марфа Петровна никогда не навещала мужа во время его гастрических припадков; она ограничивала свое участие разведыванием, кто именно носила ромашку, для того чтобы при случае припом-

нить такую услугу и такое предпочтение.

Лев Степанович, запивши кислыми щами или ромашкой сон, отправлялся побродить по полям и работам и часов в шесть являлся в чайную комнату, где у стены уже сидел на больших креслах слепой майор и вязал чулок – единственное умственное занятие, которое осталось у него. Иногда старик засыпал, Лев Степанович, разумеется, этого не мог вынести и тотчас кричал горничной: «Танька, не зевай», и Танька будила старика, который, проснувшись, уверял, что он и не думал спать, что он и по ночам плохо спит, от поясницы. После чая Столыгин вынимал довольно не новую колоду карт и играл в дураки с женою и молдаванкой. Если он бывал в особенно хорошем расположении, то среди игры рассказывал в тысячный раз отрывки из аристократических воспоминаний своих; как покойник граф его любил, как ему доверял, как советовался с ним; но притом дружба дружбой, а служба службой. «Бывало, задаст такую баню, и бумаги все по полу разбросает, и раскричится. Ну, иной раз и чувствуешь, что прав, да и не отвечаешь, надо дать место гневу. Он же у нас терпеть не мог, как отвечают; тогда было жутко, а теперь с благодарностью вспоминаю».

Всего же более любил он останавливаться с большими подробностями на том, как граф его посылал однажды с бумагой к князю Григорью Григорьевичу... «Утром встал я часов в пять. Тит тогда мальчишкой был, не разъедался еще, как теперь, что гадко смотреть, – ну, только и тогда был преле-

нивой и преглупой. Вхожу я в переднюю, насилиу его растолкал, чтобы скорей за парикмахером сбегал. Парикмахер пришел, причесал меня... тогда носили вот так, три пукли одна над другой; я надел мундир и отправляюсь к князю. Вхожу в переднюю, говорю официанту, что вот по такому делу от графа к его светлости прислан. Официант посмотрел на меня, видит, с двумя лакеями приехал – и говорит: „Раненько изволили пожаловать, князь не встает раньше десяти, а в десять я, мол, камердинеру доложу“. – „А можно, – говорю я ему, – где-нибудь обождать?“ – „Как не можно, комнат у нас довольно. Вот пожалуйста в залу“. Я взошел, люди полы метут да пыль стирают, я сел в уголок и сижу. Часика так через два вышел секретарь ли, камердинер ли и прямо ко мне: „Вы от графа?“ – „Я, батюшка, я“. – „Пожалуйте за мною к его светлости в гардеробную“. Вхожу я, князь изволит в пудермантеле сидеть, и один парикмахер в шитом французском кафтане причесывает, а другой держит на серебряном блюде помаду, пудру и гребенки. Князь, взявши бумагу, таким громким ласковым голосом мне и молвили: „Благодари графа, я сегодня доложу об этом деле. Мне граф говорил о тебе, что ты деловой и усердный чиновник, старайся вперед заслуживать такой отзыв“. – „Светлейший, мол, князь, жизнь свою предпочитаю положить за службу“. – „Хорошо, хорошо, – сказал князь и изволил со стола взять табатерку, золотую. – Государыня тебе жалует в поощрение“. Как он это изволил сказать, у меня слезы в три ручья. Я хотел было руку поцеловать, но

он отдернул. Я его в плечо, князь взглянул на меня да пальчиком парикмахеру показал, – да оба так и вспрыснули от смеха. Я ничего не понимаю, что за причина. А дело-то было просто, целуя светлейшего в плечо, я весь вымарался в пудре. Князь потом за ее величества столом рассказывал об этом, ей-богу». И во всем лице Льва Степановича распространялась гордая радость.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.